

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА
**АЛЕКСАНДРА
МЕЛИХОВА**

АЛЕКСАНДР
МЕЛИХОВ

И НЕТ ИМ ВОЗДАЯНИЯ



Москва
2015

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М47

Оформление серии – *П. Петров*

Мелихов, Александр.

М47 И нет им воздаяния / Александр Мелихов. – Москва : Издательство «Э», 2015. – 704 с. – (Большая литература. Проза Александра Мелихова).

ISBN 978-5-699-84711-2

Трилогия Александра Мелихова «И нет им воздаяния» писалась долго. Первая ее часть – «Исповедь еврея» – была опубликована в 1994 году в «Новом мире». По мнению критиков, она наделала шума не меньше, чем «Двести лет вместе» Александра Солженицына. Вторая часть впервые увидела свет лишь в 2011-м в книге «Тень отца». 21 год понадобился автору для того, чтобы завершить семейную сагу романом «Изгнание из памяти». Грандиозную эпопею о русской истории XX века А.Мелихова по глубине и масштабности можно сравнить с «Тихим Доном» М. Шолохова.

Яков Абрамович Каценеленбоген, вернувшись из лагеря, живет в североказахстанском шахтерском поселке. Он – Учитель с большой буквы. Однако рядом с этим общим любимцем живет образ Еврея – хитрого, трусливого, жадного... И сын Якова Абрамовича – Левка – всеми силами старается доказать, что он не такой. Отчаяние сына приводит к отрицанию национального прошлого отца. За это предательство уже немолодому Льву Яковлевичу приходится расплачиваться. Чтобы искупить свою вину, он решает отомстить следователю за изгнание отца из истории, отсечение от жизненного предназначения.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Мелихов А., 2015

© Оформление.

ООО «Издательство «Э», 2015

ISBN 978-5-699-84711-2

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

Скажите, можно ли жить с фамилией «Каценеленбоген»? Не в тысячу ли раз сладостнее фамилия «Фердыщенко»? Добавьте к тому, что всякого Фердыщенку понимают с полуслова, не заставляют на потеху окружающей публике скандировать «Ка-це-не...», дрессированным удавом изогнувшись к канцелярскому окошечку. Скандировать свой позор, свое клеймо (хотели бы вы во всеуслышание возглашать о себе: «Ро-го-но-сец, ро-го-но...?»), слог за слогом выдавливать из себя признание: я еврей.

В некотором блаженном младенчестве я считал, что еврей — просто неприличное слово, не имеющее, как все такие слова, никакого определенного смысла, а придуманное только для того, чтобы при его помощи невоспитанные люди могли обнаруживать свою невоспитанность. А потом явился ангел с огненным мечом и сообщил, что слово это имеет вполне определенный смысл, а в довершение всего я сам оказался... нет, не могу повторить это срамное слово всуе, как правоверный иудей (этот эвфемизм у меня получается) не может произнести имя Бога — он говорит только: Тот, Который... Который что?

Сначала я цеплялся за такую соломинку, как половина русской крови в моих еврейских жилах, но теперь-то я понимаю, что еврей — это не национальность, а социальная роль. Роль Чужака. Не такого, как все. Для наивного взгляда разные еврейские свойства вообще исключают друг друга — я и сам в дальнейшем намереваюсь сыпать такими, казалось бы, противоположными этикетками, как «еврейская забитость» и «еврейская наглость», «еврейская восторженность» и «еврейский скепсис», «еврейская за-

конопослушность» и «еврейское смутьянство»: имеется в виду забитость чужака и наглость чужака, восторженность чужака и скепсис чужака, и пусть вас не смущает, что все его свойства имеются и у добрых христиан — чужака отличает единственный уникальный признак: его не признают своим. Поэтому и храбрость, и трусость, и щедрость, и скаредность у него не простые, а еврейские.

В юности я извернулся было с широковещательной еврейской декларацией «национальность — это культура» (евреи стремятся определить национальное такими атрибутами, которыми способен овладеть каждый: они проповедуют общечеловеческие ценности, чтобы их ядовитым сиропом растворить стены своего гетто), и много лет с таким пылом отдавался русской литературе, русской музыке, доводя свой чистосердечный восторг до болезненных пароксизмов, пока вдруг... а ведь я не только очень хорошо знал, что положено рыдать при слове... ну, скажем «Шаляпин», но и рыдал (да искренне, искренне же!) громче всех, пока однажды во время коллективного рыдания меня не спросили с дружелюбным недоумением: «А ты-то чего рыдаешь?» — но после этого я внутренне стал рыдать еще громче. И все же со временем я обнаружил, что путь русской культуры и был путем самого оголтелого еврейства (впрочем, любой другой путь, который избирает для себя еврей, немедленно становится еврейским путем: обдуманно и мучительно выбирая то, что должно делаться бессознательно, ты уже одним этим навеки исторгаешь себя из рядов нормальных, то есть русских людей). Да, да, путь вдохновенного овладения (а кто же станет вдохновенно овладевать собственной женой?) русской культурой оказался путем особо непоправимого еврейства: нормальному человеку ни в чем не требуется переходить через край, а уж если ты сделался каким-то особенным знатоком Толстого или Пушкина — значит, ты Эйхенбаум, Лотман или тоже запятанный Тынянов.

Теперь я понимаю: все незаурядное в своей жизни я совершил в погоне за заурядностью, я стремился выделиться лишь для того, чтобы стать таким, как все. А это было особенно невозможно там, где заурядность возводилась в высшее достоинство: «простой советский человек». Самые непреклонные демократы и самые елейные монархисты

лебезят перед этой глыбой: «простые люди думают так-то и так-то».

Кстати, то, что вовсе не «кровь» создает еврея, я вижу по своему проклятому Богом роду, в котором с иссяканием еврейской крови еврейская непримиримость только нарастает.

Мой дед, библейский серебряный старец в ватнике и тряпочной ушанке со свесившимся ухом, примиренно (безнадежно?) выговаривал упавшим (никогда не поднимавшимся?) голосом, из которого он даже не давал себе труда изгнать пристанывающие (кряхтящие?) обертоны тысячелетней еврейской усталости, заменить их бряцаньем гордого терпенья (гордое терпенье, сухая вода, круглый треугольник): «Мы маленький народ, мы должны терпеть. Что бы ни случилось, начнут с нас».

У моего отца Якова Абрамовича, когда речь заходила об антисемитизме (от чудовищных зверств до канцелярских либо коммунальных пакостей), делалось еще более горькое (еврейское) выражение лица, но заставить его хоть как-нибудь высказаться на этот счет было невозможно — только при помощи раскаленных клещей и испанского сапога удавалось вырвать из него что-нибудь вроде: «Ну, негодяи, ну, что... Зачем о них говорить?..» — лишь бы все свести к отдельным (нетипичным) негодяям, лишь бы не покуситься на что-то действительно серьезное!

Именно воспоминаниям об этой еврейской заботности я и обязан самыми нелепыми своими выходками. Я собираюсь еще долго разглагольствовать на эту тему: ведь евреи всегда уверены, что всем очень интересно слушать про их драгоценную персону (ух, как мне было ненавистно в отце его еврейское самоуничижение, из-за которого он был готов часами слушать чью угодно похвалбу, не решаясь вставить хоть словечко о себе: кому это может быть интересно!). Но все же, с еврейским неумением вовремя придержать язык, заранее открою, что я на целые годы, десятилетия, впал в ханжество: я старался полюбить тех, кто меня ненавидел (чтобы избавиться от мук бессильной ответной ненависти), я старался сострадать тем, кто лишил меня воздуха, кто отравил мое питье, кто напитал мою душу желчью и мнительностью, кто подглядывал в мою спальню, в мою ванную и в мою уборную неприязнен-

ным, неотступным, пронизающим оком, под рентгеновским лучом которого я никогда не оставался один (а ведь только наедине человек ни перед кем не должен оправдываться). Чтобы избежать унижений, я старался объявить их несуществующими, оправдать их недоразумением, недостатком образования (как будто меня самого аристократический папа с младенчества определил в Сорбонну!), результатом каких-то бед и обид (как будто они дают право на подлость!), ложно направленным чувством справедливости — и т.д. и т.п.

Уяснили теперь происхождение еврейского христианства? Ляг, прежде чем повалят, смирись, прежде чем смирят, прости, прежде чем дадут понять, что в твоём прощении не нуждаются, и наконец — как вершина, апогей, акме (не знаете, случайно, как по-еврейски «акме»?) — полюби, прежде чем изнасилуют, — и будешь отдаваться только по любви. Все, в чем тебе отказано, объяви никчемным: что высоко перед людьми, то мерзость перед Богом.

Наделенный этой мерзостью — силой, умом, красотой — с чрезмерным (русским) размахом (по иронии судьбы — в стиле «рюсс»), вылитая модель Глазунова, я не поднялся до таких высот. Поскольку для меня оказалось недоступным лишь то, что передается по наследству всем без разбора, этническая принадлежность. Только ее я и стремился уничтожить, возглашая на каждом шагу, что имеют значение исключительно личные доблести, а национальностью не следует даже интересоваться (любой интерес к этому вопросу ничего хорошего мне не сулил).

Словом, по сравнению с чистокровными еврейскими предками все у меня, мулата, было (да и есть, есть!) очень сложно и надрывно. У детей же моих, квартиронов, все проще некуда. У дочки с руссейшим именем Катя простое еврейское высокомерие, безразличие к постороннему мнению. У сына — простая еврейская униженность, искание расположенности у первого встречного кретина. И неизвестно еще, что хуже (для русских, разумеется, хотя им и то и другое безразлично). У Кати все дружки и подружки сплошные Сони, Яши, Додики, Гринбаумы, Абрамовичи, но зато ее ничто в окружающей среде не оскорбляет, а значит, и не сердит — она замечает одних евреев, как мы где-нибудь на птичьем дворе заметили бы только птични-

цу, если бы прилаживались отлить в уголке. У сына же неисповедимой волею небес все друзья — русские, правда, какие-то порченые (стандартная картина: порча, распространяющаяся вокруг еврея), — но зато малейшее дуновение антиеврейского духа, даже самое подозрение о его присутствии где-нибудь на Новой Гвинее приводит его в невыразимое бешенство (затравленное, затравленное, не беспокойтесь!).

Как видите, евреев следует держать в страхе Божиим, иначе они на голову вам сядут: чем меньше их бьют, тем сильнее они оскорбляются. Полюбуйтесь: мой дед не имел права свободно передвигаться по просторам державы Российской, у него сожгли дом, пустили по миру, перебили половину родни, он тысячу раз трясся от страха в каких-то крысиных норах, но сердиться, беситься, рыдать, сжимать кулаки — таки он еще не сошел с ума! Сынок же мой, который материально не претерпел ну ровно ничего (не считая самых невинных — не направленных на конкретную личность — канцелярских беспокойств), бледнеет и заикается от единого лишь помысла, что где-то на Новой Гвинее... а не в том ли разгадка, что прадеда гнали чужие, а правнука — свои?

Да нет, какие там гоненья — ему всего лишь время от времени напоминают, что он не такой, как все, но бешенство и отчаяние его не опасны: ненависть отвергнутой любви обращается обратно в любовь при первом же ласковом жесте. Нет более бешеных антиантисемиток, чем русские жены евреев, — от своих они не желают выносить тысячной доли того, что безропотно снесли бы от чужаков. Но они же, чувствуя, что антиантисемитизм непатриотичен, стараются возместить его тройным патриотическим пылом за пределами своей конфузной русофобской (антиантисемитской) позиции.

Когда беспокойства вступительных экзаменов давным-давно миновали и даже жена понемногу перестала доказывать знакомым, что ее сыночек ну совсем-совсем-совсем русский (на 75%) — только что не пьет и не матерится (надеюсь, она ошибается), — Костя (ну разве не русское имя?), внезапно побледнев так, что у меня екнуло сердце, ни с того ни с сего сделал страшное признание: «А знаешь, тн-тн, — это у него такое особое заикание специально для

еврейских переживаний, — знаешь, что мне было всего, тн-тн-тн, невыносимей? Что если бы меня зарезали, то сделали бы это, тн-тн-тн, ради четырехста первого», — я намеренно не исправляю на «четырёхсот первого», чтобы показать, что мы с сыном истинно русские люди, относящиеся к своему языку по-хозяйски, не нуждаясь в грамматике, которая пишется для каких-нибудь евреев (евреями же).

— Смотри, тн-тн-тн. Приняли, тн-тн-тн, четыреста человек. Пятьдесят отличников, сто пятьдесят, тн-тн-тн, хорошистов и двести, тн-тн-тн, троечников. Я стоял где-нибудь, тн-тн-тн, на тридцатом месте. Но если бы меня, тн-тн-тн, зарезали, то, тн-тн-тн-тн, не ради тридцать первого, тн-тн-тн, и не ради восьмидесятого и даже не ради четырехсотого — они все и так, тн-тн-тн, поступили. А ради, тн-тн-тн, четырехста первого.

Устами младенца... Вот когда и до меня дошло: Олимпы всех родов так слабо заселены, что на них хватит места и первому, и восьмидесятому — не хватит только четырехста первому. И, стало быть, меня всю жизнь немножко придушивали (я всегда старался отнестись к этому с пониманием) не ради русских талантов, а ради русских тупиц. И притом я ведь все равно занял почти то же самое место, как если бы меня и вовсе не душили: ну, на пять-десять лет попозже, на ступеньку-другую пониже, — русский народ этого и не почувствовал, но зато он потерял во мне преданнейшего вассала, приплясывающего от нетерпения чем-нибудь таким пожертвовать ради своего сюзерена. Впрочем, Россия, как известно, без всех может обойтись, а без нее — никто, так что отряд не заметил потери бойца, который, пропитавшись желчью и недоверчивостью, ищет уже не жертвы, а покоя. И все же сделаю последний самоотверженный жест. В виде совета. Точнее, воззвания.

Борцы с нами, вспомните урок Макиавелли: не нанося малых обид, ибо в ответ на пощечину могут огреть ломом, — поэтому или сразу убей, или совсем не задевай. Придерживая евреев ступенькой ниже, но далеко не на самом дне, вы наживаете множество раздраженных и образованных (а влиянию на умы препятствовать трудно) соглядатаев и оценщиков ваших порядков и святынь в том самом слое, на котором порядки и должны покоиться.

Поэтому или истребите евреев всех до единого — или не троньте их вовсе. Они, конечно, поднимутся ступенькой выше (сделавшись при этом вашими друзьями), но ведь их (нас) слишком мало (милльоны нас — вас тьмы, и тьмы, и тьмы), на Олимпах хватит жилплощади всем, кто чего-то стоит, не хватит только четыреста первому. Правда, он очень обидчив и могуществен — ведь государство наше и создавалось восьмидесятыми для четыреста первых, — так что выгоднее нас перебить.

Вам выгоднее. Но вот с чего я сам всю свою жизнь посвятил служению четыреста первому? И менять что-то уже поздно — жизнь отшумела и ушла. Или «прошумела»? Евреям плохо даются русские поэты с такими архирусскими фамилиями, как Блок. Мы с трудом выговариваем подобные слова.

Итак — «Детство, отрочество, в людях».

Я был рожден для подвигов. Страшный плакса и трус с младенчества, больше всего на свете я боялся все-таки насмешек, а потому, кидаясь в рев из-за любой чепухи, я так же остервенело кидался в драку с братишкой Гришкой (а он тогда был намного старше меня!), чуть только он принимался меня дразнить. И тут уже не чуял оплеух — без всякой боли фиксировал их ослепляющие вспышки, — но вопил при этом ввиду их незаконности еще более иступленно. Меня приводило в неистовство одно только намерение меня подразнить, поэтому Гришка постоянно изобретал неканонические, а потому не предусмотренные уголовным кодексом формы дразнения, меняя их чаще, чем обновляются гриппозные вирусы. И если за «реву-корову» или «плаксу-ваксу» влетало ему, то, когда я выходил из себя в ответ на показанный мне мизинец, попадало уже мне. Вот еще когда я убедился, что евреи умеют оскорблять так, что не придерешься — впрочем, их тоже умеют оскорблять подобным же образом, но это уже не так важно.

Мое имя Лев мой папа Яков Абрамович выбрал в честь великого русского писателя, а Гришкино имя — в честь маминого брата Григория, носившего, как и она сама до своего предательского замужества, архирусскую фамилию Ковальчук. Наиболее русские фамилии — это те, которые

дальше всего отстоят от еврейских, а такими выглядят почему-то скорее малороссийские Перерепенко, Вискряк, Бульба, Голопуцек (чего бы я не отдал за любую из них!), — чем стандартно-великорусские Ивановы. Даже фамилии Цой, Джонсон или Чоттопадхайя представляются мне более еврейскими. И однако же, насколько Лев Толстой и Григорий Ковальчук были русскими людьми, настолько Лева и Гриша Каценеленбогены оказались щирыми жиденятами. Евреи делают еврейским все, к чему прикасаются. Даже самого Илью Муромского они сделали подозрительным по части пятого пункта.

Раболепнейший невольник чести в семье, я сносил насмешки и затрещины от уличных пацанов с извечной еврейской приниженностью — пока, наконец, не восстал на них с извечным еврейским гонором: насмешек от своих я не мог стерпеть потому, что именно за достойное место среди них я и боролся.

Натуры, готовые платить жизнью за достойное место в мнении соплеменников, называются героическими. Я был такой натурой.

Это было время, когда взрослые не делились на высоких и маленьких, на блондинов и брюнетов, на красавцев и уродов — все они были одинаково «взрослого» роста, а внешность людям была дана лишь для того, чтобы отличать их друг от друга. Но откуда-то я уже знал, что «просто люди» и «русские» — это одно и то же. Меня окружали просто люди, мне светило просто солнце... или, что то же самое, мне светило русское солнце, по горячей русской земле (тогда никому и в голову не приходило считать казахстанскую землю казахской: русская земля — это просто земля, земля, на которой живут просто люди), итак, по горячей русской земле озадаченно разбрелись несколько ошалевшие от избытка лап русские жуки, в сарае покорно вздыхала и хрупала сеном, деликатно отрывивая, русская корова, а в загородке ворочалась и грозно рычала русская свинья... Боже, что у меня сорвалось! Простите, это я сам еврейская свинья, а в загородке была вовсе даже не свинья, а кабан, открывший мне тайну жизни и смерти.

Кабан мощно ворочался и — с неистовыми повизгивающими нотками — рокотал, неусыпный, словно океанский прибой, но, даже изредка стихая, он оставался обманчи-

вым, как внешность красавицы. Розовая плоть, просвечивающая сквозь редкие белые волосы, напоминала бабушкину лысину, но волосы эти, если осмелишься дотронуться, были жесткими, как щетина, которой, в сущности, они и являлись. Пятачок, совсем уж младенчески розовый и простодушный, оказывался твердым, как резиновый каблук, — и то сказать, ведь рыло необходимо для рытья, а не для представительства! Чтобы дотронуться, нужно было полчаса собираться с духом, а потом, подвизгивая от ужаса и восторга, пулей вылетать из сарая. Вот вам еще одно свидетельство моей тогдашней благонадежности: к этому нечистому для сионистов животному я питал чистейшие родственные чувства.

Ну в точности как к родственникам: при их жизни — привязанность, при утрате — боль, после смерти — умиротворенное пользование наследством. Когда подходил срок *колоть* моего друга, будничный, тусклый, уныло длинный нож, которым бабушка скоблила кухонный стол, внезапно озарялся беспощадной отточенностью. Появлялся, опуская глаза, как бы стыдясь своей непомерно почетной роли, свинокол в резиновых сапогах (тогда-то я и уловил сходство слов «резня» и «резина»), начиналась озабоченная мужская беготня. А я, обмирая от тоски, бродил вокруг сарая, затем, набравшись не то храбрости, не то бесстыдства, заглядывал в черную дверь и с оборвавшимся сердцем кидался обратно, успев заметить только ужасающие в своей непонятности веревки, неизвестно с какой, но ужасной целью перекинутые через поперечную балку. Я принимался скитаться дальше, изнемогая от тоски и что-то клятвенно бормоча. А когда возвращался, уже весело-истошно выла паяльная лампа, женщины отскабливали черные паленые бочечные бочища, сияли тазы с многоцветной требухой, не кровь, а розовая вода стекала с... нет, это был уже не друг, а *мясо* — я к нему и относился как к мясу.

Вот и вся мудрость жизни: как только смерть начинает побеждать, переведи глаза на что-нибудь другое, назови потерянного друга каким-нибудь иным словом — ну хоть «покойник» — и сможешь с чистым сердцем возглашать, что жизнь все-таки всегда торжествует. И это будет суцая правда, если не вспоминать про тех, кто умер.